

Золотой горшок

Сказка из новых времен

ВИГИЛИЯ ПЕРВАЯ

*Злоключения студента Ансельма. —
Полезительный табак конфектора Паульмана
и золотисто-зеленые змейки*

В день Вознесения, часов около трех пополудни, через Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая, безобразная женщина, — и попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны, и уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша! На крики старухи товарки все оставили свои столы, за которыми торговали пирожками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговки; но когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед: «Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!..» В резком, пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением оста-

навливались, и раздавшийся было сначала смех разом замолк. Студент Ансельм (молодой человек был именно он) хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание и еще более ускорил свои шаги, чтобы избегнуть направленных на него взоров любопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: «Ах, бедный молодой человек! Ах она, проклятая баба!» Станным образом таинственные слова старухи дали смешному приключению некоторый трагический оборот, так что все смотрели с участием на человека, которого прежде совсем не замечали. Особы женского пола ввиду высокого роста юноши и его благообразного лица, выразительность которого усиливалась затаенным гневом, охотно извиняли его неловкость, а равно и его костюм, весьма далекий от всякой моды, а именно: его щучье-серый фрак был скроен таким образом, как будто портной, его работавший, только понаслышке знал о современных фасонах, а черные атласные, хорошо сохранившиеся брюки придавали всей фигуре какой-то магистерский стиль, которому совершенно не соответствовали походка и осанка. Когда студент подошел к концу аллеи, ведущей к Линковым купальням, он почти задышался. Он должен был замедлить шаг; он едва смел поднять глаза, потому что ему все еще представлялись яблоки и пирожки, танцующие вокруг него, и всякий дружелюбный взгляд проходящей девушки был для него лишь отражением злорадного смеха у Черных ворот. Так дошел он до входа в Линковы купальни; ряд празднично одетых людей непрерывно входил туда. Духовая музыка неслась изнутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей. Бедный сту-

дент Ансельм чуть не заплакал, потому что и он хотел в день Вознесения, который был для него всегда особенным праздником, — и он хотел принять участие в блаженствах линковского рая: да, он хотел даже довести дело до полпорции кофе с ромом и до бутылки двойного пива и, чтобы попировать настоящим манером, взял денег даже больше, чем следовало. И вот роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего, что при нем было. О кофе, о двойном пиве, о музыке, о созерцании нарядных девушек — словом, обо всех грезившихся ему наслаждениях нечего было и думать; он медленно прошел мимо и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку пользителем табаком, подаренным ему его другом, конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы; за нею смело и гордо поднимал славный Дрезден свои белые башни к прозрачному своду, который опускался на цветущие луга и свежие зеленые рощи; а за ними, в глубоком сумраке, зубчатые горы давали знать о далекой Богемии. Но, мрачно взирая перед собой, студент Ансельм пускал в воздух дымные облака, и его досада наконец выразилась громко в следующих словах: «А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий! Я уже не говорю о том, что я никогда не попадал в бобовые короли, что я ни разу не угадал верно в чет и нечет, что мои бутерброды всегда падают на землю намазанной стороной, — обо всех этих злополучиях я не стану и говорить; но не ужасная ли это судьба, что я, сделавшись наконец студентом назло всем чер-

тям, должен все-таки быть и оставаться чучелом гороховым? Случалось ли мне надевать новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна или не разорвать его о какой-нибудь проклятый, не к месту вбитый гвоздь? Кланялся ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину советнику без того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шлепался? Не приходилось ли мне уже и в Галле каждый базарный день уплачивать на рынке определенную подать от трех до четырех грошей за разбитые горшки, потому что черт несет меня прямо на них, словно я полевая мышь? Приходил ли я хоть раз вовремя в университет или в какое-нибудь другое место? Напрасно выхожу я на полчаса раньше; только что стану я около дверей и соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну изо всей силы какого-нибудь выходящего господина и вследствие этого не только опоздаю, но и ввяжусь в толпу неприятностей. Боже мой! Боже мой! Где вы, блаженные грезы о будущем счастье, когда я гордо мечтал достигнуть до звания коллежского секретаря. Ах, моя несчастная звезда возбудила против меня моих лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которому меня рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос; с великим трудом прикрепляет парикмахер косицу к моему затылку, но при первом поклоне несчастный шнурок лопається, и веселый мопс, который меня обнюхивал, с торжеством подносит тайному советнику мою косичку. Я в ужасе устремляюсь за нею и падаю на стол, за которым он завтракал за работою; чашки, тарелки, чернильница,

песочница летят со звоном, и поток шоколада и чернил изливается на только что оконченное до-несение. «Вы, сударь, взбесились!» — рычит раз-гневанный тайный советник и выталкивает меня за дверь. Что пользы, что конректор Паульман обе-щал мне место писца? До этого не допустит моя несчастная звезда, которая всюду меня преследует. Ну, вот хоть сегодня. Хотел я отпраздновать свет-лый день Вознесения как следует, в веселии серд-ца. Мог бы я, как и всякий другой гость в Линко-вых купальнях, восклицать с гордостью: «Человек, бутылку двойного пива, да лучшего, пожалуйста!» Я мог бы сидеть до позднего вечера, и притом вбли-зи какой-нибудь компании великолепно разряжен-ных, прекрасных девушек. Я уж знаю, как бы я расхрабрился; я сделался бы совсем другим челове-ком, я даже дошел бы до того, что когда одна из них спросила бы: «Который теперь может быть час?» или: «Что это такое играют?» — я вскочил бы лег-ко и прилично, не опрокинув своего стакана и не споткнувшись о лавку, в наклонном положении по-двинулся бы шага на полтора вперед и сказал бы: «С вашего позволения, mademoiselle, это играют увертюру из «Девы Дуная», или: «Теперь, сейчас пробьет шесть часов». И мог бы хоть один человек на свете истолковать это в дурную сторону? Нет, говорю я, девушки переглянулись бы между собою с лукавою улыбкою, как это обыкновенно бывает каждый раз, как я решусь показать, что я тоже смыслю кой-что в легком светском тоне и умею обращаться с дамами. И вот черт понес меня на эту проклятую корзину с яблоками, и я теперь должен в уединении раскуривать свой пользител-ьный...» Тут монолог студента Ансельма был пре-рван странным шелестом и шуршаньем, которые

поднялись совсем около него в траве, но скоро переползли на ветви и листья бузины, раскинувшейся над его головою. То казалось, что это вечерний ветер шевелит листьями; то — что это порхают туда и сюда птички в ветвях, задевая их своими крылышками. Вдруг раздался какой-то шепот и лепет, и цветы как будто зазвенели, точно хрустальные колокольчики. Ансельм слушал и слушал. И вот — он сам не знал, как этот шелест, и шепот, и звон превратились в тихие, едва слышные слова:

«Здесь и там, меж ветвей, по цветам, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица! Качайся в сиянии! Скорее, скорее и вверх и вниз, — солнце вечернее стреляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листьями, спадает роса, цветочки поют, шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями, звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся, сестрицы, скорей!»

И дальше текла дурманящая речь. Студент Ансельм думал: «Конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях». Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков; он посмотрел наверх и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвились вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шепот, и лепет, и те же слова, и змейки скользили и вились кверху и книзу сквозь листья и ветви; и, когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячи изумрудных искр чрез свои темные листья. «Это заходящее солнце так играет в кусте», — подумал студент Ансельм; но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм

увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему. Как будто электрический удар прошел по всем его членам, он затрепетал в глубине души, неподвижно вперил взоры вверх, и два чудных темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением, и неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвинили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал: «Ты лежал в моей тени, мой аромат обвеивал тебя, но ты не понимал меня. Аромат — это моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Вечерний ветерок пролетел мимо и шепнул: «Я веял около головы твоей, но ты не понимал меня; веяние есть моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Солнечные лучи пробились сквозь облака, и сияние их будто горело в словах: «Я обливаю тебя горящим золотом, но ты не понимал меня: жар — моя речь, когда любовь меня воспламеняет».

И, все более и более утопая во взоре дивных глаз, жарче становилось влечение, пламенней желание. И вот зашевелилось и задвигалось все, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами и сумерки набросили на землю свой покров, издалека раздался грубый густой голос: «Эй, эй, что там за толки, что там за

шепот? Эй, эй, кто там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напелись! Эй, эй, сквозь кусты и траву, по траве, по воде вниз! Эй, эй, домо-о-ой, домо-о-ой!»

И голос исчез как будто в отголосках далекого грома; но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку; шурша и шелестя, бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся.

ВИГИЛИЯ ВТОРАЯ

Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоисступленного. — Поездка по Эльбе. — Бравурная ария капельмейстера Грауна. — Желудочный ликер Конради и бронзовая старуха с яблоками

«А господин-то, должно быть, не в своем уме!» — сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гулянья, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельма. Он обнял ствол бузинового дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал не переставая: «О, только раз еще сверкните и просияйте вы, милые золотые змейки, только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня вы, прелестные синие глазки, один только раз еще, а то я погибну от скорби и горячего желания!» И при этом он глубоко вздыхал, и жалостно охал, и от желания и нетерпения тряс бузиноное дерево, ко-

торое вместо всякого ответа совсем глухо и невнятно шумело листьями и, по-видимому, порядком издевалось над горем студента Ансельма. «А господин-то, должно быть, не в своем уме!» — сказала горожанка, и Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. Теперь он снова ясно увидел, где он был, и сообразил, что его увлек странный призрак, доведший его даже до того, что он в полном одиночестве стал громко разговаривать. В смущении смотрел он на горожанку и наконец схватил упавшую на землю шляпу, чтобы поскорей уйти. Между тем отец семейства также приблизился и, спустив на траву ребенка, которого он нес на руках, с изумлением посмотрел на студента, опершись на свою палку. Теперь он поднял трубку и кисет с табаком, которые уронил студент, и, подавая ему то и другое, сказал:

— Не вопите, сударь, так ужасно в темноте и не беспокойте добрых людей: ведь все ваше горе в том, что вы слишком засмотрелись в стаканчик; так идите-ка лучше добром домой да на боковую. — Студент Ансельм весьма устыдился и испустил плачевное «ах». — Ну, ну, — продолжал горожанин, — не велика беда, со всяким случается, и в любезный праздник Вознесения не грех пропустить лишнюю рюмочку. Бывают такие пассажи и с людьми божьими — ведь вы, сударь, кандидат богословия. Но, с вашего позволения, я набью себе трубочку вашим табаком, а то мой-то весь вышел.

Студент Ансельм собирался уже спрятать в карман трубку и кисет, но горожанин стал медленно и осторожно выбивать золу из своей трубки и потом столь же медленно набивать ее полезительным табаком. В это время подошли несколько девушек;

они перешептывались с горожанкой и хихикали между собой, поглядывая на Ансельма. Ему казалось, что он стоит на острых шипах и раскаленных иглах. Только что он получил трубку и кисет, как бросился бежать оттуда, будто его пришпоривали. Все чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти, и он сознавал только, что громко болтал под бузиной всякую чепуху, а это было для него тем невыносимее, что он искони питал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с собою. «Сатана болтает их устами», — говорил ректор, и он верил, что это так. Быть принятым за напившегося в праздник кандидата богословия — эта мысль была нестерпима. Он хотел уже завернуть в аллею тополей у Кбзельского сада, как услышал сзади себя голос: «Господин Ансельм, господин Ансельм! Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?» Студент остановился как вкопанный, в убеждении, что над ним непременно разразится какое-нибудь новое несчастье. Снова послышался голос: «Господин Ансельм, идите же назад. Мы ждем вас у реки!» Тут только студент понял, что это звал его друг, конректор Паульман; он пошел назад к Эльбе и увидел конrektора с обеими его дочерьми и с регистратором Геербрандом; они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме в Пирнаском предместье. Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избежать злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу, у Антонского сада, пускали фейерверк. Шурша и шипя, взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячью

потрескивающих лучей и огней. Студент Ансельм сидел углубленный в себя около гребца; но когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. Все странное, что он видел под бузиною, снова ожило в его чувствах и мыслях, и снова овладело им невыразимое томление, пламенное желание, которое так потрясло его грудь в судорожно-скорбном восторге. «Ах, если бы это были вы, золотые змейки, ах! пойте же, пойте! В вашем пении снова явятся милые, прелестные синие глазки, — ах, не здесь ли вы под волнами?» Так восклицал студент Ансельм и сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься из лодки в воду.

— Вы, сударь, взбесились! — закричал гребец и поймал его за борт фрака. Сидевшие около него девушки испустили крики ужаса и бросились на другой конец лодки; регистратор Геербранд шепнул что-то на ухо конректору Паульману, из ответа которого студент Ансельм понял только слова: «Подобные припадки еще не замечались». Тотчас после этого конректор пересел к студенту Ансельму и, взяв его руку, сказал с серьезной и важной начальнической миной:

— Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?

Студент Ансельм чуть не лишился чувств, потому что в его душе поднялась безумная борьба, которую он напрасно хотел усмирить. Он, разумеется, видел теперь ясно, что то, что он принимал за сияние золотых змеек, было лишь отражением фейерверка у Антонского сада, но тем не менее какое-то неведомое чувство — он сам не знал, было ли это блаженство, была ли это скорбь, — судорожно сжимало его грудь; и когда гребец ударял

веслом по воде, так что она, как бы в гневе кру-
тась, плескала и шумела, ему слышались в этом
шуме тайный шепот и лепет: «Ансельм, Ансельм!
Разве ты не видишь, как мы все плывем перед то-
бой? Сестрица смотрит на тебя — верь, верь, верь
в нас!» И ему казалось, что он видит в отражении
три зелено-огненные полосы. Но когда он затем
с тоскою всматривался в воду, не выглянут ли от-
туда прелестные глазки, он убеждался, что это сия-
ние происходит единственно от освещенных окон
ближних домов. И так сидел он безмолвно, внут-
ренне борясь. Но конректор Паульман еще резче
повторил:

— Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?

И в совершенном малодушии студент отвечал:

— Ах, любезный господин конректор, если бы
вы знали, какие удивительные вещи пригрезились
мне совсем наяву, с открытыми глазами, под бу-
зинным деревом у стены Линковского сада, вы, ко-
нечно, извинили бы, что я, так сказать, в исступ-
лении...

— Эй, эй, господин Ансельм! — прервал его кон-
ректор. — Я всегда считал вас за солидного молодого
человека, но грезить, грезить с открытыми глазами и
потом вдруг желать прыгнуть в воду, это, извините
вы меня, возможно только для умалишенных или
дураков!

Студент Ансельм был весьма огорчен жестокою
речью своего друга, но тут вмешалась старшая дочь
Паульмана, Вероника, хорошенькая, цветущая де-
вушка шестнадцати лет.

— Но, милый папа, — сказала она, — с господи-
ном Ансельмом, верно, случилось что-нибудь осо-
беннее, и он, может быть, только думает, что это
было наяву, а в самом деле он спал под бузи-

ною и ему приснился какой-нибудь вздор, который и остался у него в голове.

— И сверх того, любезная барышня, почтенный конректор, — так вступил в беседу регистратор Гербранд, — разве нельзя наяву погрузиться в некоторое сонное состояние? Со мною самим однажды случилось нечто подобное после обеда, за кофе, а именно: в этом состоянии апатии, которое, собственно, и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения, мне совершенно ясно, как бы по вдохновению, представилось место, где находился один потерянный документ; а то еще вчера я с открытыми глазами увидел один великолепный латинский фрагмент, пляшущий передо мною.

— Ах, почтенный господин регистратор, — возразил конректор Паульман, — вы всегда имели некоторую склонность к поэзии, а с этим легко впасть в фантастическое и романтическое.

Но студенту Ансельму было приятно, что за него заступились и вывели его из крайне печального положения — слыть за пьяного или сумасшедшего; и хотя сделалось уже довольно темно, но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у Вероники прекрасные синие глаза, причем ему, однако, не пришли на мысль те чудные глаза, которые он видел в кусте бузины. Вообще для него опять разом исчезло все приключение под бузиною; он чувствовал себя легко и радостно и дошел до того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку своей заступнице Веронике и довел ее до дому с такою ловкостью и так счастливо, что только всего один раз поскользнулся, и так как это было единственное грязное место на всей дороге — лишь немного забрызгал белое платье Вероники. От конrektора Паульмана не ускользнула

счастливая перемена в студенте Ансельме; он снова почувствовал к нему расположение и попросил извинения за свои прежние жесткие слова.

— Да, — прибавил он, — бывают частые примеры, что некие фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучат; но это есть телесная болезнь, и против нее весьма помогают пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, к заду, как доказано одним знаменитым, уже умершим ученым.

Студент Ансельм теперь уже и сам не знал, был ли он пьян, помешан или болен, но, во всяком случае, пиявки казались ему совершенно излишними, так как прежние его фантазмы совершенно исчезли и он чувствовал себя тем более веселым, чем более ему удавалось оказывать различные любезности хорошенькой Веронике. По обыкновению, после скромного ужина занялись музыкой; студент Ансельм должен был сесть за фортепьяно, и Вероника спела своим чистым, звонким голосом.

— Mademoiselle, — сказал регистратор Геербранд, — у вас голосок как хрустальный колокольчик!

— Ну, это уж нет! — вдруг вырвалось у студента Ансельма, он сам не знал как, и все посмотрели на него в изумлении и смущении. — Хрустальные колокольчики звенят в бузинных деревьях удивительно, удивительно! — пробормотал студент Ансельм вполголоса. Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала:

— Что это вы такое говорите, господин Ансельм?

Студент тотчас же опять повеселел и начал играть. Конректор Паульман посмотрел на него мрачно, но регистратор Геербранд положил ноты на пюпитр и восхитительно спел бравурную арию капельмейстера Грауна. Студент Ансельм аккомпанировал еще много раз, а фугированный дуэт, который он ис-

полнил с Вероникой и который был сочинен самим конректором Паульманом, привел всех в самое радостное настроение. Было уже довольно поздно, и регистратор Геербранд взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом и сказал:

— Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, господину Ансельму... ну, о чем мы с вами прежде говорили?

— С величайшим удовольствием, — отвечал регистратор, и, когда все сели в кружок, он начал следующую речь: — Здесь, у нас в городе, есть один замечательный старый чудак: говорят, он занимается всякими тайными науками; но как, собственно говоря, таковых совсем не существует, то я и считаю его просто за ученого архивариуса, а вместе с тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю не о ком другом, как о нашем тайном архивариусе Линдгорсте. Он живет, как вы знаете, уединенно, в своем отдаленном старом доме, и в свободное от службы время его можно всегда найти в его библиотеке или в химической лаборатории, куда он, впрочем, никого не впускает. Кроме множества редких книг, он владеет известным числом рукописей арабских, коптских, а также и таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтоб эти последние были списаны искусным образом, а для этого он нуждается в человеке, умеющем рисовать пером, чтобы с величайшей точностью и верностью, и притом при помощи туши, перенести на пергамент все эти знаки. Он заставляет работать в особой комнате своего дома, под собственным надзором, уплачивает, кроме стола во время работы, по специес-талеру за

каждый день и обещает еще значительный подарок по счастливом окончании всей работы. Время работы ежедневно, от двенадцати до шести часов. Один час — от трех до четырех — на отдых и закуску. Так как он уже имел неудачный опыт с несколькими молодыми людьми, то и обратился наконец ко мне, чтобы я ему указал искусного рисовальщика; тогда я подумал о вас, любезный господин Ансельм, так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень мило и чисто рисуете пером. Поэтому, если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по специиес-талеру в день и получить еще подарок сверх того, то потрудитесь завтра ровно в двенадцать часов явиться к господину архивариусу, жилище которого вам легко будет узнать. Но берегитесь всякого чернильного пятна: если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала; если же вы запачкаете оригинал, то господин архивариус в состоянии выбросить вас из окошка, потому что это человек сердитый.

Студент Ансельм был искренне рад предложению регистратора Геербранда, потому что он не только хорошо писал и рисовал пером: его настоящая страсть была — копировать трудные каллиграфические работы; поэтому он поблагодарил своих покровителей в самых признательных выражениях и обещал не опоздать завтра к назначенному часу. Ночью студент Ансельм только и видел что светлые специиес-талеры и слышал их приятный звон. Нельзя осуждать за это беднягу, который, будучи во многих надеждах обманут прихотями злой судьбы, должен беречь всякий геллер и отказываться от удовольствий, которых требует жизнерадостная юность. Уже рано утром собрал он вместе свои

карандаши, перья и китайскую тушь; лучших материалов, думал он, не выдумает, конечно, и сам архивариус Линдгорст. Прежде всего осмотрел он и привел в порядок свои образцовые каллиграфические работы и рисунки, чтоб показать их архивариусу как доказательство своей способности исполнить требуемое. Все шло благополучно; казалось, им управляла особая счастливая звезда: галстук принял сразу надлежащее положение; ни один шов не лопнул; ни одна петля не оборвалась на черных шелковых чулках; вычищенная шляпа не упала лишний раз в пыль, — словом, ровно в половине двенадцатого часа студент Ансельм в своем щучьесером фраке и черных атласных брюках, со свертком каллиграфических работ и рисунков в кармане, уже стоял на Замковой улице в лавке Конради, где он выпил рюмку-другую лучшего желудочного ликера, ибо здесь, думал он, похлопывая по своему еще пустому карману, скоро зазвонят специес-талеры. Несмотря на длинную дорогу до той уединенной улицы, на которой находился старый дом архивариуса Линдгорста, студент Ансельм был у его дверей еще до двенадцати часов. Он остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и ослабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от Черных ворот! Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и закрипело: «Дурррак! Дурррак! Дурррак! Удерррешь! Удерррешь! Дурррак!» Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереть-

ся на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка, и вот сильнее и сильнее зазвенело в трескучих диссонансах, и по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски: «Быть тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле!» Студента Ансельма охватил страх и лихорадочную дрожью прошел по всем его членам. Шнур звонка спустился вниз и оказался белою прозрачною исполинскою змеею, которая обвила и сдавила его, крепче и крепче затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с треском ломались и кровь брызнула из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет. «Умертви меня, умертви меня!» — хотел он закричать, страшно испуганный, но его крик был только глухим хрипением. Змея подняла свою голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельма; режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Когда он снова пришел в себя, он лежал в своей бедной постели, а перед ним стоял конректор Паульман и говорил:

— Но скажите же, ради бога, что это вы за нечеловечности такие делаете, любезный господин Ансельм?

ВИГИЛИЯ ТРЕТЬЯ

*Известие о семье архивариуса Линдгорста. —
Голубые глаза Вероники. — Регистратор Геербранд*

— Дух взирал на воды, и вот они заколыхались, и поднялись пенистыми волнами, и ринулись в бездну, которая разверзла свою черную пасть, что-

бы с жадностью поглотить их. Как торжествующие победители, подняли гранитные скалы свои зубчатыми венцами украшенные головы и сомкнулись кругом, защищая долину, пока солнце не приняло ее в свое материнское лоно, и не взлелеяло, и не согрело ее в пламенных объятиях своих лучей. Тогда пробудились от глубокого сна тысячи зародышей, дремавших под пустынным песком, и протянули к светлому лицу матери свои зеленые стебельки и листики, и, как смеющиеся дети в зеленой колыбели, покоились в своих чашечках нежные цветочки, пока и они не проснулись, разбуженные матерью, и не нарядились в лучистые одежды, которые она для них разрисовала тысячью красок. Но в середине долины был черный холм, который поднимался и опускался, как грудь человека, когда она вздымается пламенным желанием. Из бездны вырывались парь и, сгучиваясь в огромные массы, враждебно стремились заслонить лицо матери; и она произвела бурный вихрь, который сокрушительно прошел через них, и когда чистый луч снова коснулся черного холма, он выпустил из себя в избытке восторга великолепную огненную лилию, которая открыла свои листья, как прекрасные уста, чтобы принять сладкие поцелуи матери. Тогда показалось в долине блестящее сияние: это был юноша Фосфор; огненная лилия увидала его и, охваченная горячею, томительною любовью, молила: «О, будь моим вечно, прекрасный юноша, потому что я люблю тебя и должна погибнуть, если ты меня покинешь!» И сказал юноша Фосфор: «Я хочу быть твоим, о прекрасная лилия; но тогда ты должна, как неблагодарное детище, бросить отца и мать, забыть своих подруг; ты захочешь тогда быть больше и могущественнее, чем всё, что теперь здесь

радуется наравне с тобою. Любовное томление, которое теперь благодетельно согревает все твое существо, будет, раздробясь на тысячи лучей, мучить и терзать тебя, потому что чувство родит чувство, и высочайшее блаженство, которое зажжет в тебе брошенная мною искра, станет безнадежною скорбью, в которой ты погибнешь, чтобы снова возродиться в ином образе. Эта искра — мысль!» — «Ах! — молила лилия. — Но разве не могу я быть твоею в том пламени, которое теперь горит во мне? Разве я больше, чем теперь, буду любить тебя, и разве смогу я, как теперь, смотреть на тебя, когда ты меня уничтожишь!» Тогда поцеловал ее юноша Фосфор, и, как бы пронзенная светом, вспыхнула она в ярком пламени, из него вышло новое существо, которое, быстро улетев из долины, понеслось по бесконечному пространству, не заботясь о прежних подругах и о возлюбленном юноше. А он стал оплакивать потерянную подругу, потому что и его привлекла в одинокую долину только бесконечная любовь к прекрасной лилии, и гранитные скалы склоняли свои головы, принимая участие в скорби юноши. Но одна скала открыла свое лоно, и из него вылетел с шумом черный крылатый дракон и сказал: «Братья мои металлы спят там внутри, но я всегда весел и бодр и хочу тебе помочь». Носясь вверх и вниз, дракон схватил наконец существо, порожденное огненной лилией, принес его на холм и охватил его своими крыльями; тогда оно опять стало лилией, но упорная мысль терзала ее, и любовь к юноше Фосфору стала острую болью, от которой кругом все цветочки, прежде так радовавшиеся ее взорам, поблекли и увяли, овеянные ядовитыми испарениями. Юноша Фосфор облекся в блестящее оружие, игравшее тысячью разно-

цветных лучей, и сразился с драконом, который своими черными крылами ударял о панцирь, так что он громко звенел; от этого могучего звона снова ожили цветочки и стали порхать, как пестрые птички, вокруг дракона, которого силы наконец истощились, и, побежденный, он скрылся в глубине земли. Лилия была освобождена, юноша Фосфор обнял ее, полный пламенного желания небесной любви, и все цветы, птицы и даже высокие гранитные скалы в торжественном гимне провозгласили ее царицей долины.

— Но позвольте, все это только одна восточная напыщенность, почтеннейший господин архивариус, — сказал регистратор Геербранд, — а мы ведь вас просили рассказать нам, как вы это иногда делаете, что-нибудь из вашей в высшей степени замечательной жизни, какое-нибудь приключение из ваших странствий, и притом что-нибудь достоверное.

— Ну так что же? — возразил архивариус Линдгорст. — То, что я вам сейчас рассказал, есть самое достоверное из всего, что я могу вам предложить, добрые люди, и в известном смысле оно относится и к моей жизни. Ибо я происхожу именно из той долины, и огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя прапрапрабабушка, так что я сам, собственно говоря, — принц.

Все разразились громким смехом.

— Да, смейтесь, — продолжал архивариус Линдгорст, — то, что я представил вам, пожалуй, в скудных чертах, может казаться вам бессмысленным и безумным, но тем не менее все это не только не нелепость, но даже и не аллегория, а чистая истина. Но если бы я знал, что чудесная любовная история, которой и я обязан своим происхождением, вам так мало понравится, я, конечно, сообщил бы вам ско-

рее кое-какие новости, которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении.

— Как, у вас есть брат, господин архивариус? Где же он? Где он живет? Также на королевской службе, или он, может быть, приватный ученый? — раздавались со всех сторон вопросы.

— Нет, — отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая табак, — он стал на дурную дорогу и пошел в драконы.

— Как вы изволили сказать, почтеннейший архивариус, — подхватил регистратор Геербранд, — в драконы?

«В драконы», — раздалось отовсюду, точно эхо.

— Да, в драконы, — продолжал архивариус Линдгорст, — это он сделал, собственно, с отчаяния. Вы знаете, господа, что мой отец умер очень недавно — всего триста восемьдесят пять лет тому назад, так что я еще ношу траур; он завещал мне, как своему любимцу, роскошный оникс, который очень хотелось иметь моему брату. Мы и поспорили об этом у гроба отца самым непристойным образом, так что наконец покойник, потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошел в драконы. Теперь он живет в кипарисовом лесу около Туниса, где он стережет знаменитый мистический карбункул от одного некроманта, живущего на даче в Лапландии, и ему можно отлучаться разве только на какие-нибудь четверть часа, когда некромант занимается в саду грядками, саламандрами, и тут-то он спешит рассказать мне, что нового у истоков Нила.

Снова присутствующие разразились громким смехом, но у студента Ансельма было что-то неладно на душе, и он не мог смотреть в неподвижные серьезные глаза архивариуса Линдгорста, чтобы не по-

чувствовать какого-то, для него самого непонятного, содрогания. Особенно в сухом, металлическом голосе архивариуса было для него что-то таинственное и пронизывающее до мозга костей, вызывающее трепет. Та цель, для которой регистратор Геербранд, собственно, и взял его с собою в кофейню, на этот раз, по-видимому, была недостижима. Дело в том, что после происшествия перед домом архивариуса Линдгорста студент Ансельм никак не решался возобновить свое посещение, ибо, по его глубочайшему убеждению, только счастливая случайность избавила его если не от смерти, то по крайней мере от опасности сойти с ума. Конректор Паульман как раз проходил по улице в то время, как он без чувств лежал у крыльца и какая-то старуха, оставив свою корзину с пирожками и яблоками, хлопотала около него. Конректор Паульман тотчас же призвал портшез и таким образом перенес его домой.

— Пусть обо мне думают что хотят, — сказал студент Ансельм, — пусть считают меня за дурака, но я знаю, что над дверным молотком на меня скалили зубы проклятое лицо той ведьмы от Черных ворот; что случилось потом — об этом я лучше не буду говорить; но если бы я, очнувшись от своего обморока, увидал перед собою проклятую старуху с яблоками (потому что ведь это она хлопотала надо мною), со мною бы мгновенно сделался удар или я сошел бы с ума.

Никакие убеждения, никакие разумные представления конrektора Паульмана и регистратора Геербранда не повели ни к чему, и даже голубокоя Вероника не могла вывести его из того состояния глубокой задумчивости, в которое он погрузился. Его сочли в самом деле душевнобольным и стали подумывать о средствах развлечь его, а, по

СОДЕРЖАНИЕ

ЗОЛОТОЙ ГОРШОК. *Пер. Вл. Соловьева* 5

КРОШКА ЦАХЕС,
ПО ПРОЗВАНИЮ ЦИННОБЕР. *Пер. А. Морозова* . 113

Комментарии. *С. А. Антонов* 247